



## А. Ф. КОНИ

### Мотивы и приемы творчества Некрасова (Беглые заметки)

Недоброжелательство, зависть к материальной независимости поэта и злорадное восприятие всяких на него наветов часто отравляли жизнь Некрасова. Он сам отчасти подавал к этому повод, забывая совет житейской мудрости: «Не говори о себе дурно — друзья твои об этом позаботятся»<sup>1</sup>. В обиход нашей панихиды входят прекрасные слова: «Несть человек иже поживет и не согрешит — Ты Един кроме греха»<sup>2</sup>, — но не по мелким прегрешениям, а по лучшим сторонам и проявлениям выдающегося человека надо его судить. У нас делается обычно наоборот, и Боровиковский был прав, обращаясь к типическому хулителю Некрасова со словами: «Ты сосчитал на солнце пятна и проглядел его лучи»<sup>3</sup>. Некрасов не хотел просить пощады у своих врагов («Что враги? пусть клеветуют язвительней — я пощады у них не прошу»<sup>4</sup>), но в минуты уныния и щемящей душевной горечи относился к себе с резким осуждением и взывал к светлому образу своей матери о нравственной помощи. Этими самообвинениями и самобичеванием, этой «явкой с повинной» пред народом, хотя каяться пред последним было не в чем, он давал пищу клевете. Среди отзывов о нем не только со стороны «самодовольных болтунов, охотников до споров модных», но и со стороны некоторых критиков, как, например, Страхова, Евгения Маркова, Полевого и, к сожалению, Тургенева, часто выражалось сомнение в его искренности как печальника горя народного, в стихах которого «поэзия и не ночевала». И действительно, пение птичек, благоухание цветов — «в дымных тучках пурпур розы» и «шепот, робкое дыханье, трели соловья»<sup>5</sup> не находят себе места в стихах этого, по отзыву одного из хулителей, «земного поэта»<sup>6</sup>, часто страждущего физически и почти всегда нравственно. Он остается всю жизнь верен завету Гоголя — молить себе у Бога гнева и любви — и почерпает эти чувства не из иску-

ственно созданного настроения, а из глубоко вонзившихся в душу впечатлений целой жизни, начиная с раннего детства, заставляющих его, по красивому испанскому выражению, «кричать устами своей душевной раны».

Вот его детство «среди буйных дикарей» в усадьбе отца, — жестокого и бездушного насильника, — вокруг которого «разврат кипит волною грязной» и где страдает чистая и благородная мать, где приходится сливать слезы детского испуганного и трепещущего сердца со слезами оскорбленной и поруганной женщины. Куда уйти? Где отдохнуть от этой горькой обстановки, чтобы забыться хотя бы на время среди других картин? Пойти на берег соседней Волги? — Но там вереницей, в своеобразных хомутах, тащат барки унылые и сумрачные бурлаки «с болезненным припевом “ой!” и в такт мотая головой», так незабываемо изображенные Репиным... Уйти в противоположную сторону? — Но там так часто идут на Владимирку по дороге в далекую и страшную Сибирь ссыльные и каторжные с выжженными клеймами на лице и бритой половиной головы, бряцающая цепями, сменяясь по временам партиями горестно оплаканных семьей рекрутов, отправляемых на долгую безрадостную и исполненную бездушной строгости и бессмысленной шагистики службу. А кругом — и дома, и у соседей, — в мрачной области крепостного права, грубые проявления власти владельцев крестьянских «душ». Вот где корни любви и гнева, проникающие поэзию Некрасова, вот первоначальный источник его любви и сострадания к «Орине — матери солдатской» и к «некрутиковой жене», — сочувствия тяжкому горю русской женщины, когда она, выполняя святой подвиг, едет «во глубину сибирских руд» к сосланному мужу или когда она не в силах забыть своих детей, погибших на кровавой ниве, подобно плакучей иве, не могущей поднять «своих поникнувших ветвей». Из этого же источника, наконец, черпает он со свойственным ему трезвым реализмом свое трогающее участие к молодой крестьянке, которую будет «бить <...> муж-привередник и свекровь в три погибели гнуть», и к той игрушке барской прихоти, которая «на какой-то патрет все глядит, да читает какую-то книжку», так что любящий муж ее «бить — так почти не бивал, разве только под пьяную руку...».

А если обратиться к молодым годам поэта, брошенного на «холодные плиты» Петербурга, «пребывающего в неизвестности, пресмыкающегося в нищете» в соприкосновении со всеми видами испытаний и страданий, свойственных жизни «рокового» города, то можно ли отрицать лично пережитую и искреннюю горечь негодования в изображении тех, кого он имеет в виду, говоря читателю: «Иди к униженным, иди к обиженным, там нужен ты».

Быть может, недалеко уже то время, когда Некрасов станет вполне и непрерываемо *народным поэтом*, и песенка его зазвучит над Волгой, над Окой, над Камой, но и теперь он яркий и глубоко вдумчивый *поэт о народе*, о его нуждах и скорбях. В его «Тихине» и ряде других произведений звучит неподдельная любовь к родной природе и к своей отчизне. «Пусть ропот укоризны за мною по пятам бежал, — говорит он, — не небесам чужой отчизны — я песни родные слагал!» Его лирические вещи, полные грусти о недостижимом или разбитом счастье, проникнуты заразительным настроением. Достаточно указать на «Я посетил твоё кладбище». Нужно ли говорить о его гражданской заслуге «толпе напоминать, что бедствует народ в то время, как она ликует и поет», — напоминать, что в то время, когда, по признанию самого Николая I, Россия управлялась столоначальниками<sup>7</sup>, а они избирались преимущественно из городской молодежи, далекой от народа и чуждой ему, Некрасов говорил ей о нем, пробуждая в ней внимание и любовь к этому «таинственному незнакомцу».

Выставляя Некрасова «спорным поэтом», некоторые критики нападают и на приемы его творчества. «Зачем он употребляет стихотворный размер анапест?» — восклицает один; «Да ведь все, что он говорит стихами, можно изложить прозой», — восклицает другой<sup>8</sup>. Но разве многие произведения, хотя бы того же Тургенева, не доказали, что и проза может иметь и ритм, и гармонию стиха? И разве не встречаем мы у Некрасова свободное распоряжение всеми стихотворными размерами, независимо от любимого им ямба? Его народный, сочный и выразительный язык «Мороза, Красного носа», «Коробейников» и «Кому на Руси жить хорошо» заставляет невольно вспомнить мольбу Тургенева: «Берегите наш русский язык!»<sup>9</sup>

Его содержательные и образные прилагательные, напоминающие пушкинские, заключали в себе не только определения свойства или качества, но и целый образ, как, например, — *беспокойная* ласковость взгляда, *поддельная* краска ланит и *убогая* роскошь наряда у несчастной жертвы общественного темперамента, или *врачующий* простор родной стороны, или *закушенный* калач, дрожащий в руке голодного вора, и проч. Нельзя не отметить у него и очень удачных звукоподражаний, тоже напоминающих Пушкина. Таков, например, отзыв простого человека о железной дороге: «Важная барыня! гордая барыня! ходит, змеєю шипит: “Пусто вам! пусто вам! пусто вам!” — русской деревне кричит»<sup>10</sup>. Нет и скучного у многих поэтов многословия. Его определения кратки, но содержательны, — он часто ограничивается общим намеком, предоставляя читателю самому представить себе настоящую картину. В страдании русской матери, насильственно

разлученной с сыном, «мало слов, а горя реченька, горя реченька бездонная»; причины, приведшие человека на каторгу, рисуются так: «Молящий стон, безумный крик, сверканье стали... прочь утонувшие в крови — воспоминания любви!» Наконец, опять-таки в опровержение одного из критиков, приходится указать на неудачное, по его мнению, а в сущности превосходное обращение Пушкина к княгине Волконской в «Русских женщинах», в котором так и слышится подлинная манера и стиль великого поэта...

